**Балакин Евгений Георгиевич, г. Барнаул**

**ВЕНОК ИЗ ЛАВРА**

триптих

Есть память отдельно взятого человека. Она может быть хорошей, очень хорошей, чудовищно хорошей. Это может вызвать уважение у других людей. А есть память целого народа. И эта память не может быть ни плохой, ни хорошей. Она просто есть. Даже если вы сами об этом не догадываетесь.

Что-то стало неуловимо меняться вокруг, стало растворяться, исчезать, куда-то уходить, уступая место другой картине, другой реальности, другим жизненным декорациям. Неожиданно повеяло каким-то душным, страшным воздухом, насквозь пропитанным гарью, копотью, вонью отработанной солярки, смертью. И разворачивается вширь и глубину видимость небывалая, и знакомая, и неузнаваемая, и реальная, и фантастическая и невозможно понять – сон это, явь или просто взбесившаяся память, до поры до времени молчавшая, перестаёт терпеть чьё-то забытьё и взрывается сразу во множестве голов серым фугасом, и, вырвавшись на простор, заполняет всё вокруг собою. И все, кто даже этого не хочет, видят, как возле бескрайнего пшеничного поля, у дороги, в высокой полыни лежит солдат, хоронится. А мимо, чудовищными монстрами из жутких сказок, идут, ревут колонны танков со свастиками на бронированных бортах, сидят на них парни молодые, светлые чубы ветром полощет, улыбки на пыльных лицах белозубые, победительные. Каски в руках, автоматы и карабины между ног остывают. У некоторых в руках букетики полевых цветов сиротливо ёжатся, будущими похоронными венками мерещатся.

Смотрит на них солдат, лицом кривится. Больно ему от увиденного, слёзы закипают на глазах бессильные, утирает он их пилоткой, размазывает по лицу. Иные слезинки капают на землю на свою, а та помочь ничем не может, сама от чужих машин, от стальных гусениц содрогается, тихо стонет. Смрадный дым от взрывов по полю ядовитыми грибами поднимается, рвётся в синее небо, скручивается в чёрных злых коней, да только ветер не даёт им окончательно оформиться, разгоняет их, ломает их чёрные хребты.

Пролязгали мимо враги, пронеслись по земле тени от низко летящих хищных самолётов, встал солдат. Огляделся настороженно, ремень винтовки, в которой только три патрона и остались, поправил, а потом тяжело поднимает с земли столб полосатый пограничный, наверху дощечка прибита с надписью «СССР», взваливает его на плечо и идёт вдоль дороги светлым берёзовым лесом, прячась от врага за деревьями. Столб полосатый и берёзы белые пятнистые сливаются с ним, заслоняют от чужих глаз. Идёт солдат, под тяжестью такой сгибается, пот глаза заливает, разъедает солью. Оботрёт он на ходу лицо рукавом гимнастёрки – и дальше идёт, не останавливается. Тяжелее и тяжелее с каждым шагом столб пограничный становится, давит весом своим, к земле гнёт, словно всю огромную страну держат на себе солдатские плечи. Но только крепче стискиваются зубы, только злее желваки на лице бугрятся. Идёт солдат!

– Врёшь, немец… Пока перед тобой хоть один пограничный столб стоять будет – страна не сдастся! Где граница, там и оборона… А от обороны до атаки шаг один… А где атака, там и победа! Умру, а столб этот до своих донесу…

Вдруг позади треск мотоциклетный раздался, сверлом в воздух ввинчивается, зудит, приближается. Стучат крупповские стальные поршни, вращают колёса тяжёлых «Цундаппов». Затаился солдат, столб пограничный на землю опустил, пилотку сдёрнул, чтобы солнечный лучик ненароком его не выдал, на красной звезде не блеснул. Видит, пылят по дороге с десяток мотоциклов, на колясках пулемёты тупыми стволами зло ощетинились, солдаты поют что-то, здоровыми глотками с моторами соперничают. Едут враги по родной земле, куражатся, а кругом-то ширь золотая до самого горизонта тянется, в небо синее упирается, колос пшеничный наливается силой, урожай богатый обещает. Кому-то всё это достанется?

– Врёшь, немец! – губы пересохшие злыми словами давятся, между бровей, как залегла складка с первого дня войны, так и не уходит, только глубже становится.

Вот уже поравнялись немцы, ещё бы полминуты – и растворились бы они в жарком мареве июня, исчезли серыми тенями в сизых выхлопах и в пыли, да что-то не сложилось, что-то где-то не срослось. Человек-то всему происходящему объяснения ищет, ответы раскапывает, а ничего такого нет. Есть только петельки и крючочки, крючочки да петельки… Зацепилась твоя петелька за чужой крючочек – пиши, пропало.

Наперекрест колонне вынеслась из-за деревьев рыжая лошадь, а на ней девушка сидит, обхватила гривастую шею, пятками босыми бьёт в крутые бока, изо всех сил понукает животину. Розовый платочек назад сбился, галстуком пионерским тонкую шею обхватил, платьишко лёгкое выше колен задралось. Спешила, видать, куда-то, а может от кого-то, да прямо на немцев и нарвалась. Это только в сказках Коньки-Горбунки всякие да Сивки-Бурки по воздуху, как птицы, летать могут, а в жизни-то обычной они об этом не догадываются. Вот и наша рыжая лошадушка об этом не знала. Как вкопанная встала она перед ревущими тяжёлыми мотоциклами, а девушке только и осталось, что с размаху на землю опуститься. Вскочила тут же, и – бежать прямиком в колосья, а те ей по пояс стеной стоят. Немцы остановились, заглушили моторы, закаркали по-своему, смотрят на бегущую, смеются, кричат ей что-то.

И тут один из мотоциклов взревел, вырулил с дороги и – в поле, троих на себе везёт. Легко догнал беглянку и ну пшеницу вокруг неё мять, давить, из круга не выпускает. А та уже и не бежит никуда, стоит, рот рукой зажала, в глазах ужас через край рвётся. Видит всё это солдат, глаза у него побелели, стали, как две прорези от прицела. Глянул он вокруг себя, словно в последний раз, снял с плеча винтовку.

А потом был долгий-долгий женский крик, и билось эхо от него от облака к облаку, летело вдаль и ввысь, роняло слезинки, то в озеро глубокое, то в бор смолистый, то на дорогу пыльную. Если кто вдруг скажет, что эхо не плачет, не верьте этому! А потом были три выстрела и три пули, каждая из которых нашла своего суженного, а найдя, поклялась любить его до самой смерти. Прилетевший откуда-то коршун с высоты очень хорошо видел своё отражение в застывших, удивленных глазах трёх парней в серых мундирах, неподвижно лежащих на изуродованной земле.

А ещё через некоторое время на поле уже никого не было, только возле дороги, появился вкопанный полосатый столб, а на нём, аккуратно прикрученный колючей проволокой, висел солдат…

\* \* \*

Всё стало затягиваться плотной белой пеленой, принёсшей с собой утреннюю промозглую сырость, тяжёлые запахи надвигающейся осени и ещё, какую-то особую опасную тишину, готовую в любое мгновение лопнуть с чудовищным грохотом и воем. Где-то совсем рядом всхрапнула лошадь, звякнуло железо, кто-то негромко выругался по-польски. Внезапно подувший ветер, пахнущий смрадной гарью, разметал в клочья туман и заставил его отступить от могучих, десятиметровой высоты, стен Троице-Сергиевского монастыря. Остатки белого морока ещё бессильно цеплялись за двенадцать боевых его башен, но и они скоро исчезли, растворились в воздухе без следа.

– Пся крев!

Сидевший на огромном сером жеребце польский гетман Ян Сапега зло исказился лицом.

– Проклятый ветер!

Пластинчатые доспехи на его груди украшали позолоченные изображения Богоматери и креста, за спиной угрожающе скалилась клыками шкура снежного барса. Раздражённо дёрнув себя за ус, он с неохотой убрал длинный прямой меч в ножны.

– Раненных подобрать, а этих… – закованной в налокотник и железную перчатку рукой он указал на трёх израненных монахов. – Этих…. связать – и в лагерь!

Гетман Ян Пётр Сапега сидел в одной рубахе на широкой скамье посреди тёмной крестьянской избы и брился. Дорогие доспехи его были сняты и небрежно сброшены на массивный, кованый серебром сундук, стоящий в углу. Сундук этот гетман всегда возил с собой. Поговаривали, что после каждого его похода сундук этот, и так тяжёлый, прибавлял в весе раза в три. Особенно здесь, в России, после того, как Сапега поддержал в притязаниях на московскую власть тушинского второго Лжедмитрия.

Успешные походы гетмана на Вязьму, Рахманов и Дмитров разжигали аппетит, и помимо воинской славы приносили богатую добычу. Вот и здесь, под восьмиметровыми стенами Троице-Сергиевого монастыря, обладающего, как были уверены все в окружении гетмана, несметными сокровищами, в случае удачи, было чем поживиться, но целый год тяжёлой, как для поляков, так и для русских, осады не принёс ни одной из противоборствующих сторон ощутимого перевеса.

Поляки и переметнувшиеся к ним казаки полковника Александра Лисовского сражались храбро, но ещё храбрее, с нерушимой верой в победу и с отчаянием обречённых на смерть, бились защитники монастыря. Кольцо окружения вокруг Москвы оставалось разомкнутым до тех пор, пока стояли все двенадцать башен этой православной твердыни, соединяющую столицу с Новгородом, Псковом, Вологдой, Пермским краем и дальше на Урал.

Солнечного света из маленького окошка только и хватало на то, чтобы высветить нижнюю часть панского лица. Отливающее синевой тонкое лезвие, вставленное в отделанную желтоватой костью ручку, выбрило твёрдый подбородок и теперь очень аккуратно проходилось вдоль линии роскошных усов. Маленькое круглое зеркальце, заправленное в серебро, одной рукой осторожно держал высокого роста с широченными плечами детина. Другая его рука занята была серебряной баночкой, до краёв полной пахнущей мускусным орехом мыльной пеной.

Гетман, по обыкновению, брился сам, и, как всегда, делал это долго и со вкусом. Судя по тому, что и зеркальце, и мыльница в могучих руках уже начали слегка дрожать, бритьё подходило к концу. Наконец, Сапега тщательно вытер лицо полотенцем, взяв зеркало, подошёл ближе к окну и придирчиво осмотрел свою работу.

Оставшись довольным, он вернулся к лавке, отпустил слугу и только потом удостоил своим взглядом трёх монахов, связанных по рукам и ногам, и неудобно стоящих на коленях. Тела их были покрыты ранами, и сквозь иссеченные рясы в прорехи видна была изуродованная плоть с запёкшейся кровью. Больше всех пострадал самый молодой из них, совсем юноша, у которого борода пошла ещё только первым волосом. Польская сабля глубоко вошла сбоку шеи, перерубив мышцы и ключицу, и теперь голова его бессильно повисла, обагряя грязный пол крупными каплями крови. Два других монаха плечами поддерживали его, чтобы не упал, хотя и сами были исколоты и порублены во многих местах. Возле дверей, с саблями наголо, угрожающе шевелили усами два шляхтича. Видать, даже в таком полуживом состоянии, одним своим присутствием вызывали эти трое у панов чувство страха и опасности. Из присутствующих здесь ещё был стоящий в тёмном углу иезуит с надвинутым на глаза капюшоном и напоминающий собой огромного хищного паука, приготовившегося к прыжку.

Сапега сел на лавку и долго смотрел на монахов. Чужие страдания, казалось, его совсем не трогали. Судьба, которую он себе выбрал, видимо, щадя его и понимая, что не может человек долго и без последствий постоянно видеть кровь и убийства, заковала сердце его в крепкий стальной панцирь, иначе оно давно бы уже разорвалось от ужаса. А так гетман спокойно сидел и очень хладнокровно считал капли крови, падающие с поникшей головы.

Досчитав до ста, Сапега встал. Жёсткое выражение его лица внезапно неуловимо поменялось на выражение другое – удивлённое и недоумевающее. Что заставило его так долго сидеть и молчать перед этими тремя русскими монахами? Чем они отличаются от шведов, немцев, литовцев, поляков? Что у них есть такого, чего нет у других народов? Да, они, несмотря на свой образ жизни, оказались хорошими воинами, и каждый из них отправил на тот свет с десяток его людей. Это достойно восхищения, но мало ли таких отважных и смелых людей повидал он на своём веку? Они враги, которых нужно сломать, сломать любой ценой, любыми доступными на этой войне средствами. И так часто и происходило. Но эти трое и все те, кто находился сейчас за стенами этого проклятого монастыря, не сломались, не сдались до сих пор, несмотря на более чем двенадцатимесячную осаду, страшный голод и болезни. Эти монахи живут верой и бьются за свою веру. Их ничем не соблазнить, им ничего в этой жизни не надо, кроме призрачной жизни за гробом. Каждый из них умрёт с улыбкой в придуманном для себя ореоле мученика. Пся крев!

Стоящий в углу и, словно пожирающий собою остатки солнечного света, иезуит перекрестился и загнусавил что-то на латыни. Гетман обернулся, посмотрел на него, а потом, нехорошо ухмыльнувшись, перевёл взгляд на монахов.

– Тому из вас, кто перекрестится, как католик, сохраню жизнь и отпущу на все четыре стороны.

Иезуит замолчал, и из-под низкого капюшона впервые появились глаза – две дыры белого цвета. Шляхтичи у дверей оскалились, предвкушая забавное. Сапега словом своим никогда не бросался, и если уж нашла на него какая прихоть, можно быть уверенным, что так оно и будет. Монахи не двигались.

– Ну, что же вы? Никто ведь не узнает. Какая разница: слева направо или справа налево? Бог-то один! А, отец Доминиан? Ты бы перекрестился по ихнему?

Иезуит ничего не ответил, только не мигая смотрел на монахов. А те, приподняв лица, словно ловили глазами кусочек голубого неба в слепом окне, и этого кусочка им было вполне довольно, чтобы видеть ангелов в окружении херувимов и шестикрылых серафимов. А потом самый молодой из них, улыбаясь дрожащими губами, приподнял здоровую руку и, сложив из пальцев кукиш, направил его прямо в панскую голову.

Шляхта у дверей, рыча, кинулась к нему, и если бы Сапега не остановил их жестом, покатилась бы славная голова под лавку вместе с отрубленной рукой.

Гетман подошёл к окну, долго молчал, а потом сказал, не оборачиваясь, спокойным, будничным голосом:

– Казнить их завтра на рассвете. Только так, чтобы из монастыря видно было, – и уже взявшись за дверь, добавил – Без пыток… Легко пусть умрут.

На следующее утро, едва только ветер успел порвать в клочья тугие клубы тумана, защитники монастыря увидели, как на Красной горке, вне досягаемости от стрел и ружейных пуль, на второпях сделанном за ночь помосте, рубили головы трём монахам. Низко над местом казни по-хозяйски летали разжиревшие вороны, выбирая себе приглянувшуюся добычу. Головы и тела были брошены на всеобщее обозрение. А ближе к вечеру, по приказу воеводы князя Григория Борисовича Долгорукого-Рощи, тут же, на крепостной стене, в отместку, казнили всех пленных поляков и казаков общим числом шестьдесят один.

До самой ночи дрались между собой чёрные птицы, пытаясь отнять друг у друга самое большое своё лакомство – человеческие глаза. А ещё через три месяца, уже после того, как осада была снята, и поляки отступили перед воинами князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, из-под снега были извлечены изуродованные тела монахов и захоронены по-божески, по православному.

\* \* \*

Неожиданно, прямо на глазах, карта начала медленно обугливаться, пожираемая невидимым огнём, и на её поверхности капиллярной сеткой проступили ломаные линии рек и дорог, соединяющие Смоленск, Орёл, Белгород, Москву. А потом масштаб начал стремительно уменьшаться, будто кто-то навёл сверху огромный микроскоп и начал приближать к себе поверхность земли, чтобы разглядеть на ней всё до деталей, до самых мельчайших подробностей. Через какое-то время всё вдруг пропало, и только мелькали рваные клочья не то тумана, не то клубов дыма, которые увеличиваясь в размерах, становились более и более плотными, заполняя собой пространство, вторгаясь в сознание настойчиво и властно.

Казалось, будто из всех стихий, существующих в природе, осталась только одна – огонь. Вместо неба был дым, воздух плавился, потеряв прозрачность, земля была покрыта телами. Сверху всё это напоминало один из кругов ада, только не дантового, а ещё более страшного, не придуманного, самого что ни на есть реального.

Барабанщик батареи генерала Раевского Иван Лукин не сразу пришёл себя после того, как между русскими пушками, прямо в самой гуще канониров, разорвалась картечная граната. Этот недавно появившийся артиллерийский снаряд, начинённый внутри железными пулями, буквально выкашивал живую силу противников – то же самое произошло и теперь. Открыв глаза, Иван ничего не увидел. Пошевелиться не мог – сверху на него кто-то тяжело навалился, не давая дышать, а лицо заливало чем-то тёплым.

Чтобы не задохнуться, Лукин изо всех сил рванулся кверху и, освободившись от непомерной тяжести, распахнул рот, наполняя лёгкие воздухом. И тут же тяжело закашлялся: воздух был тяжёлым и смрадным – вокруг горело всё, что только могло гореть. От пушечных выстрелов и взрывов снарядов стоял неимоверный грохот. Как будто сам Бог Войны, ликуя от происходящего, бил окровавленными костями в чудовищный барабан, обтянутый человеческой кожей.

Обтерев лицо рукавом мундира, стоя на коленях, Иван огляделся. У ближней от него пушки был сорван с лафета орудийный ствол, а вторая была уже готова к выстрелу, когда точно попавшая в цель картечная граната разметала по сторонам орудийные расчёты. Прямо возле него лежал грузный Семён Супостатов. Вместо шеи у того было кровавое месиво, из которого толчками била кровь. Остальные канониры имели тяжёлые ранения в грудь, живот и голову. Впереди, шагах в двадцати от себя, Иван Лукин разглядел в дыму свой кивер, а рядом, из-под земли, тянулась скрюченными пальцами к небу чья-то рука.

Бой страшный, беспощадный, на пределе человеческих возможностей продолжался пятый час подряд. Французы, после многочисленных атак и огромных потерь, сумели на левом фланге потеснить русских, захватив Багратионовы флеши, и теперь Наполеон сосредоточил огонь четырёхсот своих орудий на центре, который защищали войска генерала Раевского.

Лукин встал на ноги – он был жив и даже не ранен, только сильно болела от контузии голова. Справа и слева от него, раскаляя стволы, били русские пушки. Справа и слева от него падали русские воины, а впереди, несмотря на сокрушительный артиллерийский огонь, шли в атаку французские гренадеры. Бравые вояки, подчинившие себе всю Европу, не знающие поражений, они впервые столкнулись с противником, не уступавшим им ни в силе, ни в отваге, ни в доблести.

Это была живая стена из пушечных стволов, ружей и штыков, которая вырастала снова и снова за каждой пядью, взятой французами русской земли. Блестя на раннем солнце штыками, плотной массой быстро надвигались враги. Они стреляли на ходу, но выстрелов было не слышно, только на короткое время повисали в воздухе облачка порохового дыма. Одна из пуль, попав в голову хрипящему Супостатову, добила его окончательно. Посмотрев на его разбитое лицо, Иван Лукин словно очнулся.

– А-а-а! Гниды французские! Русской землицы захотели! А русской картечи в глотку свою не желаете!

Он подбежал к пушке, поджёг от тлеющего фитиля пороховую трубку и орудие, содрогнувшись, швырнуло картечный заряд в самую гущу французов. В плотном строю наступающих образовалась брешь, которая тут же сомкнулась, ощетинившись штыками. Лукин схватил валяющееся на земле ружьё и тут же выронил его вместе с собственной рукой: её оторвало летящим снарядом.

Высоко в небе тёмным распятием парила хищная птица. Поле под Бородино всегда было местом охоты для неё, но не сегодня. Исчезли, попрятались мелкие птахи и полёвки, напуганные невиданным доселе грохотом и огнём. Но птица не улетала. От земли подымался густой запах крови, и всё больше и больше ворон, сбиваясь в плотные стаи, чуя поживу, начинало кружиться поблизости. Чуть скосив голову набок, хищная птица разглядывала человека, стоящего в дыму, на вершине холма. Он стоял, истекая кровью, и бил единственной рукой в барабан, висящий у него на груди…